

АЛЕКСАНДР БЕК

СНОВА У БАУРДЖАНА МОМЫШ-УЛЫ

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ НАЧАЛО ВТОРОЙ ПОВЕСТИ
О ПАНФИЛОВЦАХ

От автора

Происхождение страниц, которые следуют ниже, таково. Они были написаны, по-видимому, в конце 1943 года. Я намеревался предпослать их в качестве вступления ко второй моей повести о батальоне панфиловцев «Волоколамское шоссе», опубликованной в № 5—6 журнала «Знамя» в 1944 году.

Однако тогда мне показалось, что такое вступление задерживает темп повествования. И вместо этих страниц я ограничился лишь несколькими вступительными строками.

Декабрь 1964 г.

«О войне, о потрясающем человеческом страдании нужно писать только и только правду, — правду не по словарю, а по сердцу и по душе, в пределах приличья и закона войны — кровавого опыта...

Когда я говорю о правде, я имею в виду правду перед богом, ибо человек не всегда искренен перед своим родом».

Из письма гвардии полковника Баурджана Момыш-Улы редактору журнала «Знамя».

Этому-то человеку, предъявляющему писателям странное требование «правды перед богом», моему герою Баурджану Момыш-Улы я привез во фронтовой блиндаж рукопись предшествующей повести.

Пачка исписанной на машинке бумаги была не без торжественности извлечена из вещевого мешка и положена на стол. Однако истекло немало часов, прежде чем Баурджан Момыш-Улы, командир гвардейского полка, смог ею заняться.

Все же пришла, наконец, минута, когда, придвинув рукопись к керосиновой лампе, он склонился над первой страницей.

Мы не виделись полгода. За эти месяцы Момыш-Улы похудел; тени во впадинах лица были густо темными; в острых уголках не по-монгольски больших глаз проступила желчь — сказалось напряжение войны. Освещенный лампой, резко очерченный профиль казался похожим, как и в первую встречу, на профиль индейца, памятный по детским книгам.

Он быстро прочел начальную главу. Там рассказывалась история книги; описывалось знакомство с Баурджаном; передавались впечатления о наружности, манере, характере этого, поразившего меня, казаха.

Пробежав вступление, он заглянул в конец, потом поднял глаза — они не были приветливы.

— Почему вы все время твердите о том, что я казах? — раздраженно спросил он. — Написали один раз и хватит... Вы, будто, заываете, — поглядите-ка, чудо природы. Вы оскорбляете того, кого хотели бы ласкать. Это ласка бегемота...

Мое лицо стало, вероятно, очень огорченным: писал, писал и вот...

Баурджан улыбнулся.

— Но бегемотов много, — сказал он. — Что поделаешь, приходится принимать эти ласки.

Прилегли на застланную плащ-палаткой койку, сбитую из досок (я ушел туда, в полутьму, чтобы не мешать), я наблюдал то, что писателю не часто доводится видеть: герой повести читал эту самую повесть. Баурджан Момыш-Улы читал о Баурджане Момыш-Улы.

Впрочем, он отверг бы эту формулу. Однажды я попросил Баурджана рассказать детство, юность, дать штрихи личной жизни. Он лаконично ответил: «Лишнее». — «Почему? Мне это необходимо». — «Я рассказываю не вам». — «Не мне?» — «Не вам, а поколению. Рассказываю о том, что пережито под Москвой, о подвигах батальона панфиловцев. Было бы глупо и неблагородно подсовывать сюда собственную биографию». Переубедить не удалось: мне достался трудный, неуступчивый герой.

Склонившись над бумагой, он не горбился. Время от времени быстрым движением узкой худощавой кисти он откидывал очередную страницу. Порой пальцы касались, медленно поглаживая, черных, как тушь, волос, которые упрямо поднимались, как только рука оставляла их.

Из темноты я вглядывался в него. Вот он потянулся к лежавшему на столе раскрытому серебряному портсигару, взял папиросу и некоторое время, о чем-то думая, вертел ее над лампой, подсушивая табак. Закурив, он продолжал читать без единого замечания, без слова.

Вот опять голова приподнялась, — на этот раз порывисто, — Баурджан достал из планшета карандаш и стал что-то писать наискось бледно-фиолетовых строк машинописи.

Не буду приводить всех его пометок. Передам лишь кое-что из разговора, который произошел меж нами, когда все было прочитано.

— Не чувствую Москвы, воздуха битвы под Москвой, — говорил Баурджан. — Не передам исторический момент — октябрь 1941 года...

Как обычно, его суждения были резки — порой до несправедливости.

— Затем... Я не согласен с вашей трактовкой страха.

— С моей? Почему с моей? Я изложил ваши мысли.

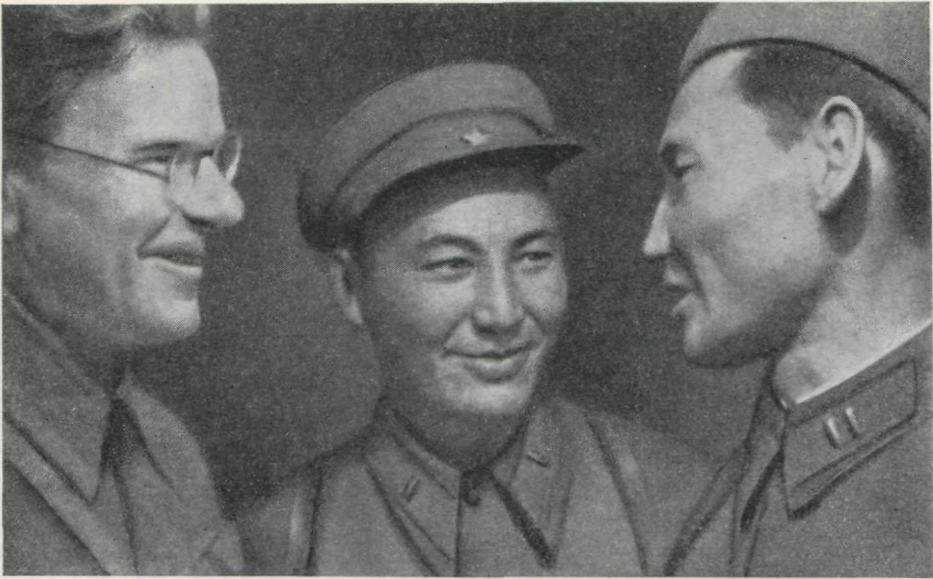
— Возможно... Возможно, что я, примерно, так и рассказал. Но по написанному вижу: грубо, топорно, чурбаном выглядит. Ведь существуют разные виды и степени страха, как и степени любви, маленький и большой страх, а тут (он указал на рукопись) на людей сразу наваливается животный страх, — страх в превосходной степени, ужас, — а потом они начисто от него освобождаются. Неверно! И, кроме того, вы одновременно принизили солдата.

Я запротестовал. Но Баурджан настаивал.

— Да, принизили. У Наполеона есть изречение: «Людьми управляет страх и личный интерес». К такому пониманию человека в иных местах склоняетесь и вы.

В упор глядя на меня думающими большими черными глазами, он повторил:

— Людьми управляет страх и личный интерес... А идеалы? А благородство, совесть, честь, патриотизм, готовность поделить с товарищами



А. А. БЕК И МАЛИК ГАВДУЛЛИН (в центре) БЕСЕДУЮТ С МАЙОРОМ БАУРДЖАНОМ МОМЫШ-УЛЫ

Фотография. Калининский фронт, лето 1942 г.
Собрание А. А. Бека, Москва

лишения и опасности, готовность к самопожертвованию в борьбе? Разве все это — пустые слова? Разве без этого мы могли бы победить?

Баурджан был недоволен мною, недоволен собою, собственным рассказом.

— Почему,— спрашивал он,— вы не показали картин поражения? Почему не передали горьких дум об этом? Ведь это было вам рассказано. В оправдание я привел несколько соображений.

Баурджан вспыхнул.

— Если бы литературный фронт,— резко сказал он,— был действительно фронтом, где расстреливают трусов, вам давно бы не жить.

Вновь увидев мое огорчение, он опять улыбнулся и добавил:

— Особенно, если я был бы там командиром.

Я спросил:

— Скажите, что вы разумели, когда в письме редактору журнала «Знамя» упомянули о правде перед богом? Ведь вы же не верите в бога.

— Почему не верю? Я верующий человек.

Странно... Не шутит ли он? Кто его знает,— резко очерченное смуглое лицо непроницаемо.

— Да,— невозмутимо продолжал он,— я верю в бога. И молюсь богу. Вы долго со мной прожили. Неужели вы этого не замечали?

— Нет. Ни разу не заметил.

Он рассмеялся.

— Какой там бог?! Ведь я же говорю о совести. А бессовестных людей я ненавижу.

Вот оно что! Ну, это-то я, конечно, замечал.

С этим-то трудным человеком, который так строго судил первую повесть, мы принялись за следующую.